- Гилберт Кит Честертон
  -
  - Примечания
- notes
  - 1

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Гилберт Кит Честертон
Три всадника из «Апокалипсиса»

К мистеру Понду, несмотря на его вполне будничную внешность и безукоризненное воспитание, я относился с любопытством, а иногда и с настороженностью, что было, по всей вероятности, связано с какими-то детскими воспоминаниями, а также со смутными ассоциациями, которые вызывали у меня его имя. [1] Он был государственным служащим, старинным приятелем моего отца, и в моем младенческом воображении ассоциировался с прудом, тем более что он и в самом деле чем-то неуловимо напоминал пруд в нашем саду: был таким тихим, таким уютным, таким, можно сказать, лучезарным, когда рассуждал о земле, небе и солнечном свете. А между тем я знал, что с нашим прудом иногда творились странные вещи: очень редко, всего раз или два в году, пруд внезапно преображался: его прозрачная гладь вдруг озарялась светом или же набегала мимолетная тень, и на поверхности появлялась рыба, лягушка или какое-нибудь еще более диковинное существо. Точно так же и в мистере Понде таились какие-то чудища, иногда они всплывали со дна его рассудка, на мгновение возникали на поверхности и вновь исчезали. Являлись эти чудища в виде самых невероятных умозаключений, которые время от времени позволял себе этот мягкий и вполне разумный человек. Его замечания выглядели порой настолько чудовищными, что некоторым его собеседникам казалось, будто в процессе самых здравых рассуждений он неожиданно сходит с ума. Но даже такие собеседники вынуждены были признать, что разум возвращается к мистеру Понду столь же внезапно, как и покидает его.

Бывали минуты, когда мистер Понд и сам почему-то напоминал мне рыбу. Мало того что он был крайне обходителен, он умел вдобавок не привлекать к себе внимания; неприметными были даже его жесты, если не считать тех редких случаев, когда он, отпустив совершенно невпопад какое-нибудь курьезное замечание и настроившись наконец на серьезный лад, принимался задумчиво теребить бородку. В эти минуты он, точно сова, с отсутствующим видом смотрел перед собой и дергал себя за бороду, а со стороны казалось, будто рот у него открывается, как у куклы, которую дергают за веревочку. Когда он вот так, молча открывал и закрывал рот, то становился похож на пучеглазую, жадно глотающую воздух рыбу. Но

продолжалось это всего несколько секунд, уходивших, надо полагать, на то, чтобы переварить неуместную просьбу собеседника, недоумевавшего, что же мистер Понд имел в виду.

Однажды он мирно беседовал с сэром Хьюбертом Уоттоном, известным дипломатом. Сидели они у нас в саду под ярким полосатым навесом и смотрели на тот самый пруд, с которым в моем извращенном воображении ассоциировался мистер Понд. Разговор зашел о бескрайней болотистой равнине, протянувшейся через Померанию, Польшу и Россию чуть ли не до самой Сибири, то есть о той части света, которую оба собеседника, в отличие от большинства западноевропейцев, хорошо знали. И тут мистер Понд припомнил, что там, где разливаются реки и места особенно топкие, по высокой, крутой насыпи проложена прямая, достаточно широкая для пешеходов дорога, на которой, однако, с трудом могли разъехаться два всадника. Такова предыстория.

Случилось это в те недавние времена, когда кавалерия была в гораздо большем почете, чем теперь, хотя кавалеристы уже тогда чаще ездили с донесениями, чем скакали в атаку. Шла война, одна из тех многочисленных войн, что совершенно опустошили эти края, — насколько вообще можно опустошить пустыню. Польша, как вы догадываетесь, находилась под гнетом Пруссии… а впрочем, все эти политические подробности и рассуждения о правых и виноватых в данном случае значения не имеют. Скажем лишь, что мистер Понд предложил собравшимся загадку.

— Вы, должно быть, помните, — начал он, — какой скандал разразился в связи с Павлом Петровским, краковским стихотворцем, который совершил два довольно опрометчивых для своего времени поступка: переехал из Кракова в Познань и попытался совмещать поэзию и политику. В Познани, где поэт тогда жил, стояли пруссаки, поскольку город находился на восточном конце той самой дороги, и прусское командование сочло необходимым захватить столь важный плацдарм. А на западном ее конце разместился штаб прусской армии, осуществившей операцию по захвату города. Командовал войсками легендарный маршал фон Грок, а ближе всего к дороге стояли его любимые Белые гусары — полк, которым в свое время командовал он сам. В полку, понятное дело, царил образцовый порядок, сверкали белые, с иголочки, мундиры, огненно-красные ленты через плечо: в то время ведь еще не принято было одевать солдат всех армий мира в одинаковые грязно-серые гимнастерки. Вообще мне иногда кажется, что геральдика лучше нынешней мимикрии, позаимствованной у обожаемых нами хамелеонов и жуков из учебников по естественной истории. Как бы то ни было, у этого образцового кавалерийского полка

сохранилась своя униформа, что, забегая вперед, явилось одной из причин неудачи маршала. Однако дело было не только в униформе, но и в проформе. План маршала не удался из-за образцовой дисциплины в полку. Оттого что солдаты Грока скрупулезно выполняли его приказы, он не смог добиться того, что хотел.

— В ваших словах заложен парадокс, — со вздохом заметил Уоттон. — Не спорю, это остроумно и все такое прочее, но на самом-то деле это же сущий вздор. Да, я знаю, принято думать, будто немцы придают излишне большое значение армейской дисциплине. Но согласитесь, какая же армия без дисциплины?!

— Но я же не говорю о том, что принято думать, — с грустью возразил Понд. — Я имею в виду совершенно конкретный случай. Грок потерпел фиаско потому, что солдаты выполнили его приказ. Вот если бы его приказ выполнил только один солдат, все было бы не так плохо. Но когда его приказ выполнили сразу двое — тут уж бедняга оказался совершенно бессилен.

— Да вы, я смотрю, крупный военный теоретик. — Уоттон гортанно расхохотался. — По-вашему, один солдат в полку еще может выполнить приказ; когда же приказ готовы выполнить два солдата, вы делаете вывод, что в прусской армии излишне строгая дисциплина.

— Речь идет не о теории, а о практике, — спокойно ответил мистер Понд.

— Грок потерпел неудачу оттого, что два солдата выполнили его приказ. Не подчинись ему хотя бы один из них, он мог бы добиться успеха. И то, и другое

— факты. А всевозможные теории на этот счет вы уж будете строить сами.

— Я не большой охотник до теорий, — сухо произнес Уоттон, словно собеседник хотел его обидеть.

В это время на залитой солнцем лужайке появилась массивная фигура капитана Гэхегена, большого друга и почитателя маленького мистера Понда. В петлице у него пламенел цветок, из-под надетого немного набекрень серого цилиндра выбивались огненно-рыжие волосы, а своей развязной походкой он напоминал, хотя и был относительно молод, бретеров и дуэлистов из давно ушедших времен. На расстоянии его высокая широкоплечая фигура в обрамлении солнечных лучей казалась воплощением крайнего высокомерия, однако когда он подошел ближе, сел и солнце упало ему на лицо, то вдруг обнаружилось, что высокомерный вид никак не вяжется с грустным и даже немного тревожным взглядом его

нежно-карих глаз.

— Я как всегда слишком много болтаю, — стал извиняться, прервав свой монолог, мистер Понд. — Дело в том, что я рассказывал про одного поэта, Петровского, которого чуть было не казнили в Познани. Было это довольно давно. Местные власти не хотели брать на себя ответственность, и, если бы не распоряжение маршала фон Грока или еще более высокого чина, они готовы были Петровского отпустить. Но маршал фон Грок вознамерился во что бы то ни стало лишить поэта жизни и в тот же вечер послал приказ о его казни. Однако вслед за приказом о казни было послано распоряжение об ее отсрочке, а поскольку курьер, который вез второй приказ, по дороге погиб, заключенного освободили.

— А поскольку… — машинально повторил вслед за ним Уоттон.

— …курьер, который вез второй приказ… — с иронией в голосе продолжал Гэхеген.

— …по дороге погиб… — пробормотал Уоттон.

— …заключенного, естественно, освободили! — подытожил Гэхеген, не скрывая своего ликования. — Логично, ничего не скажешь! Ладно, будет вам сказки рассказывать!

— Это вовсе не сказка, — возразил Понд. — И произошло все именно так, как я говорю. Никакого парадокса тут нет. Выслушайте всю историю, и вы убедитесь, насколько она проста.

— Что верно, то верно, — согласился Гэхеген. — Не узнав всю историю целиком, трудно судить о том, проста она или нет.

— Валяйте, не тяните, — отрезал Уоттон.

Павел Петровский был одним из тех на редкость непрактичных людей, которым в практике политической борьбы поистине цены нет. Дело в том, что он был не только национальным поэтом, но и всемирно известным певцом. Он обладал очень красивым и звучным голосом, и во всем мире не осталось, кажется, ни одного концертного зала, где бы он не исполнял патриотические песни собственного сочинения. На родине же его почитали глашатаем революции, с его именем связывались самые смелые надежды, в особенности во время международного кризиса, когда на смену профессиональным политикам приходят либо идеалисты, либо прагматики. Ведь у истинного идеалиста и настоящего реалиста есть, по крайней мере, одна общая черта — активность. У преуспевающего же политика любое действие вызывает решительный протест. Идеалист вполне может быть прожектером, равно как и реалист — неразборчивым в средствах, но ни тот, ни другой никогда не добьются успеха, если будут сидеть сложа руки.

Именно такие два антипода и находились сейчас на противоположных концах проходившей через болота дороги; на одном ее конце, в городской тюрьме, польский поэт, а на другом, в военном лагере, — прусский солдат.

Маршал фон Грок и впрямь был настоящим прусским солдатом, человеком не только практического, но и сугубо прозаического склада. За всю свою жизнь он не прочел ни единой поэтической строки и при этом был очень не глуп. У него, как и у всякого солдата, было чувство реальности, чего так не хватает прекраснодушным профессиональным политикам. Над иллюзиями он не издевался, он их ненавидел. Поэт или пророк, он понимал, могут представлять опасность не меньшую, чем целая армия. А потому он принял решение казнить поэта, и в этом решении выразилось искреннее уважение маршала к поэтическому ремеслу.

В данный момент он сидел у себя в палатке, а перед ним на столе лежала остроконечная каска, которую он никогда не снимал на людях. Массивный его череп казался совершенно лысым, на самом же деле маршал был просто очень коротко стрижен. Нависшие над переносицей сильные очки в тяжелой оправе придавали его гладко выбритому крупному помятому лицу какое-то загадочное выражение. Он повернулся к стоящему перед ним лейтенанту, светловолосому круглолицему немцу, тупо смотревшему перед собой голубыми, навыкате глазами.

— Лейтенант фон Гохеймер, — произнес он, — вы сказали, Его высочество прибывает в лагерь сегодня вечером?

— Так точно, в семь сорок пять, — пробасил словно бы через силу лейтенант, напоминавший в этот момент ручного медведя, которому нелегко дается человеческая речь.

— В таком случае, — сказал Грок, — еще есть время до его приезда отправить вас в город с приказом о смертной казни. Наш долг — служить Его высочеству верой и правдой и делать все возможное, дабы избавить его от лишних хлопот. Его высочеству будет не до Петровского: он произведет смотр войск и через час отправится на следующий аванпост. Проследите, чтобы у Его высочества было все необходимое.

Похожий на медведя лейтенант пробудился от спячки и вяло отдал честь.

— Наш долг — выполнять приказы Его высочества, — отозвался он.

— Наш долг — служить Его высочеству верой и правдой, — повторил маршал.

Более резким, чем обычно, движением он сдернул очки и бросил их на стол. Будь голубоглазый лейтенант немного наблюдательнее, его широко раскрытые глаза раскрылись бы еще шире, ибо его наверняка бы потрясла

случившаяся с маршалом перемена. Казалось, в этот момент фон Грок сорвал с лица железную маску. Еще минуту назад маршал со своим оплывшим лицом, дряблыми щеками и мясистым подбородком был как две капли воды похож на носорога. Теперь же он напоминал еще более диковинного зверя: носорога с орлиным взором. Холодный блеск его ослабевших глаз неопровержимо свидетельствовал о том, что маршал не так уж тяжел на подъем и что есть в нем не только железо, но и сталь. Ведь все люди в конечном счете живы духом, пусть даже злым духом, либо таким, про который ни один христианин не скажет, злой он или добрый.

— Мы все должны служить Его высочеству, — повторил Грок. — Скажу больше. Мы все должны оберегать Его высочество. К своим монархам мы должны относиться как к богам. Кому же, как не нам, служить им, оберегать их?

Маршал фон Грок редко говорил да и задумывался не чаще — философом его нельзя было назвать при всем желании. Когда же люди его склада думают вслух, они, обратите внимание, гораздо охотнее разговаривают с собакой, чем с человеком. Они испытывают даже какое-то особое, снисходительное удовольствие, адресуя своему четвероногому собеседнику длинные слова и сложные доводы. Впрочем, сравнивать лейтенанта фон Гохеймера с собакой было бы несправедливо. Несправедливо по отношению к собаке, существу куда более восприимчивому и живому. Точнее было бы сказать, что Грок, погрузившись против обыкновения в раздумье, испытал приятное, успокаивающее чувство от того, что он размышляет вслух в присутствии низшего существа.

— В истории нашего королевского дома, — продолжал Грок, — не раз бывало, что слуга спасал своего господина, за что получал лишь пинки, по крайней мере, от непосвященных, которые всегда подают голос против тех, кто силен, кому сопутствует успех. Мы же назло им одерживали победу за победой, демонстрировали свою силу. Бисмарка обвиняли в том, что он обманул своего господина с Эммской депешей, но ведь в результате его господин стал господствовать над миром. Мы захватили Париж, мы поставили на колени Австрию — мы были спасены. Сегодня Павел Петровский умрет — и мы опять будем спасены. Вот почему я безотлагательно посылаю вас в Познань с приказом о приведении в исполнение смертного приговора. Помните, Петровский должен быть немедленно казнен, а вы должны присутствовать при его казни. Вы меня поняли?

Бессловесный Гохеймер отдал честь. Да, это он понял. Что-то в нем

было все-таки от собаки: смелый, как бульдог, готов ради своего хозяина на смерть.

— Садитесь в седло и отправляйтесь в путь, — сказал Грок. — По дороге нигде не останавливайтесь. По моим сведениям, этот болван Арнхейм, если только не придет специальное донесение, собирается сегодня ночью Петровского отпустить. Поторопитесь.

Лейтенант еще раз отдал честь и, выйдя из палатки, растворился во мраке. Вскочив на одного из лучших белых скакунов, какими славился этот славный полк, он поскакал по узкой дороге, возвышавшейся, словно стена, над бескрайней равниной. Впереди чернел горизонт, внизу, в опустившихся сумерках, серели болота.

Как только стук копыт стих вдали, фон Грок встал, надел каску и очки и двинулся к выходу из палатки. Курьер его больше не занимал: ему навстречу в парадной форме шли офицеры его штаба, а по рядам выстроившихся войск уже катилось громогласное эхо команд и приветствий. Приехал Его высочество принц.

Его высочество сильно отличался — по крайней мере, внешне, — от обступившей его свиты. Да и во всем остальном он мало походил на свое окружение. На голове у него тоже была остроконечная каска, но другого полка, черная, отливающая вороной сталью; было что-то внешне несообразное, а внутренне, наоборот, глубоко оправданное в несколько старомодном сочетании этой каски с длинной темной окладистой бородой, совершенно не вязавшейся с гладко выбритыми подбородками окружавших его пруссаков. Под стать длинной темной окладистой бороде был и длинный темно-синий широкий плащ с вышитой на нем сверкающей королевской звездой, а из-под синего плаща выглядывал черный мундир. Немец, как и все, он был вместе с тем каким-то совершенно другим немцем, и что-то в его значительном, рассеянном лице свидетельствовало о том, что слухи, будто принц любит музыку, не лишены оснований.

Больше всего, по правде говоря, угрюмый Грок боялся, что из-за этого в высшей степени странного увлечения принц не станет объезжать полки, уже выстроенные по сложной схеме в соответствии с военным этикетом их нации, а заговорит как раз на ту тему, какой Грок особенно не хотел бы касаться, — про этого проклятого поляка, про его славу и про угрожавшую ему опасность. Ведь принц сам слушал песни Петровского во многих оперных залах Европы.

— Казнить такого человека было бы чистым безумием, — сказал принц, бросив на маршала угрюмый взгляд из-под своего черного шлема. — Это же не обычный поляк. Это европейская величина. Его будут

оплакивать и боготворить наши союзники, друзья, даже соотечественники. Вы что же, хотите уподобиться безумным вакханкам, что убили Орфея?

— Но Ваше высочество, — возразил маршал, — его будут оплакивать, зато он будет мертв. Его будут боготворить, но он будет мертв. Что бы он ни замышлял, его планам не суждено будет осуществиться. Что бы он ни делал сейчас, больше этого не произойдет. Смерть — это самый непреложный на свете факт, а я факты уважаю.

— Неужели вы не понимаете, что происходит в мире? — грозно спросил принц.

— Меня не интересует, что происходит в мире, — ответил Грок. — Мне безразлично все, что творится за пределами родного отечества.

— Боже милостивый! — вскричал Его высочество. — Да вы бы и Гете повесили, если бы тот поссорился с герцогом Веймарским.

— Ради королевского дома — не колеблясь ни секунды!

— Как вас прикажете понимать? — резко спросил принц после минутной паузы.

— Дело в том, — спокойно ответил маршал, — что я уже послал гонца с приказом казнить Петровского.

Взметнув, словно могучими крыльями, своим широким плащом, принц поднялся и навис над своей свитой наподобие огромного черного орла. Все знали: гнев его настолько велик, что действовать он будет безотлагательно. Не сказав фон Гроку ни слова, он громовым голосом подозвал к себе его заместителя, генерала фон Фоглена, коренастого человека с квадратной головой, который стоял поодаль, неподвижный, точно скала.

— У кого в вашей кавалерийской дивизии самая быстрая лошадь? Кто лучший наездник?

— Лошадь Арнольда фон Шахта может обогнать скаковую, Ваше высочество, — выпалил генерал. — А сам он держится в седле как заправский жокей. Он из полка Белых гусар.

— Прекрасно, — тем же громовым голосом откликнулся принц. — Пусть немедленно выезжает и остановит курьера, который везет этот безумный приказ. Я наделяю фон Шахта полномочиями, которые наш доблестный маршал, надо надеяться, оспаривать не станет. Перо и чернил!

Принц сел, скинул плащ и, когда ему принесли письменный прибор, крупным, размашистым почерком написал приказ, перечеркнувший все предыдущие. Смертную казнь принц распорядился отменить, а поляка Петровского выпустить на свободу.

В воцарившейся тишине, гремя шпагой и волоча за собой длинный плащ, принц рванулся к выходу, даже не взглянув на застывшего у стола старого Грока, который своей неподвижной фигурой и остекленевшим взглядом напоминал в этот момент доисторическое каменное изваяние. Принц пребывал в такой ярости, что никто не осмелился напомнить ему про смотр войск. Тем временем Арнольд фон Шахт, совсем еще молодой офицер с длинными вьющимися волосами, на белом гусарском мундире которого красовалась уже не одна медаль, получив из рук принца сложенную бумагу, щелкнул каблуками, вышел, чеканя шаг, из палатки, вскочил на коня и помчался, словно серебряная стрела или падающая звезда, по высокой узкой дороге.

А старый маршал между тем не торопясь вернулся к себе в палатку, не торопясь снял остроконечную каску и очки и положил их, как и раньше, перед собой на стол. Затем он подозвал стоявшего у входа денщика и приказал ему немедленно привести сержанта Шварца из гусарского полка.

Не прошло и минуты, как перед маршалом вырос сухопарый, жилистый мужчина с большим шрамом на подбородке. Для немца он был, пожалуй, чересчур смуглым, хотя, быть может, он просто потемнел с годами от дыма, лишений и плохой погоды. Он отдал честь и, выпятив грудь, вытянулся перед маршалом. Фон Грок медленно поднял на него глаза. И при том, какая глубокая пропасть разделяла маршала Его высочества, которому подчинялись генералы, и жалкого, побитого жизнью сержанта, эти два человека, единственные в этой истории, поняли друг друга без слов.

— Сержант, — отрывисто сказал маршал, — я видел вас дважды. Первый раз, если мне не изменяет память, когда вы заняли первое место в армии по стрельбе из карабина.

Сержант молча отдал честь.

— А второй раз, — продолжал фон Грок, — на допросе, после того, как вы застрелили эту мерзкую старуху, которая наотрез отказывалась давать нам сведения о засаде. Тогда эта история получила в некоторых кругах громкую огласку. По счастью, многие влиятельные люди были на вашей стороне. В том числе и я.

Сержант во второй раз отдал честь. И вновь молча. А маршал продолжал. Говорил он невыразительно, но на удивление чистосердечно:

— Дело, от которого зависит как безопасность Его высочества принца, так и всего отечества, представили Его высочеству в ложном свете, и Его высочество опрометчиво распорядился отпустить поляка Петровского, которого должны были казнить сегодня ночью. Повторяю, сегодня ночью.

Приказываю вам немедленно ехать за фон Шахтом, который везет приказ о помиловании, и остановить его.

— Его вряд ли удастся догнать, Ваше превосходительство, — возразил сержант Шварц. — Фон Шахт — превосходный наездник, к тому же у него самая быстрая лошадь в полку.

— Вы должны не догнать, а остановить его, — возразил Грок. — Остановить человека можно по-разному, — растягивая слова, проговорил маршал. — Можно голосом, а можно и выстрелом. Выстрел из карабина наверняка привлечет его внимание, — уточнил Грок еще более невыразительным голосом.

И в третий раз сержант молча отдал честь. Его суровое лицо по-прежнему оставалось совершенно непроницаемым.

— Мир меняется не от наших слов, — сказал Грок. — Переделать мир можно не упреками и похвалами, а только делом. Сделанного, говорят, не воротишь. В настоящий момент без убийства нам никак не обойтись. — Маршал метнул на сержанта колючий взгляд своих стальных глаз и добавил: — Я имею в виду Петровского, разумеется.

И тут впервые непроницаемое лицо сержанта Шварца расплылось в мрачной улыбке. Откинув брезентовый козырек палатки, он, как и двое курьеров до него, вышел наружу, вскочил в седло и растворился во мраке.

Последний из трех всадников был еще менее склонен предаваться пустым фантазиям, чем первые двое. Но коль скоро и он до некоторой степени был человеком, мертвая равнина, по которой он скакал темной ночью, да еще с таким поручением, действовала на него столь же угнетающе. Он словно бы ехал по высокому мосту, под которым разверзлась бездонная и безбрежная пучина, в миллионы раз более страшная, чем море. Здесь ведь нельзя плыть, ни самому, ни в лодке — болото неминуемо затянет вниз. Сержант смутно ощущал присутствие какой-то древней как мир зыбкой субстанции, лишенной всякой формы, не являющейся ни землей, ни водой. В этот момент, мнилось ему, все в природе так же зыбко и непрочно, как эта трясина.

Он был атеистом, как тысячи таких же, как и он, скучных, деловых северных немцев, однако он не принадлежал к тем счастливым язычникам, что воспринимают прогресс человечества как нечто само собой разумеющееся. Мир для него был не зеленым полем, где все распускается, растет, плодоносит, а пропастью, куда со временем, словно в бездонную яму, низвергнется все живое, и эта мысль помогала ему выполнять странные обязанности, возложенные на него в этом чудовищном мире. Серо-зеленые пятна растительности, смотревшие сверху развернутой

географической картой, представлялись ему скорее историей болезни, чем историей роста, а водоемы, казалось ему, полны не пресной водой, а ядом. Он помнил, какую суету обычно подымают все эти гуманисты по поводу отравленных источников.

Впрочем, размышления сержанта, как и всякого, к размышлениям не склонного, вызваны были тем, что этот сугубо практичный человек отчего-то нервничал, испытывал какую-то смутную тревогу. Уходившая вдаль, совершенно прямая дорога казалась ему не только жуткой, но и бесконечной. Странное дело: так долго ехать и даже издали не видеть преследуемого. У фон Шахта, как видно, и впрямь была превосходная лошадь, ведь выехал он немногим раньше. Надежды на то, чтобы догнать фон Шахта, о чем Шварц предупреждал маршала, было мало, однако рассмотреть его вдали он должен был, судя по всему, очень скоро. И вот когда от унылого, пустынного пейзажа повеяло полной безысходностью, сержант наконец увидел того, за кем гнался.

Далеко впереди возникла белая точка, которая постепенно выросла в белую фигурку всадника, стремглав летевшего по равнине. Выросла потому, что прибавил ходу и Шварц, который мчался теперь с такой же бешеной скоростью. Вскоре фигурка увеличилась настолько, что на белом мундире можно было разглядеть оранжевую перевязь, какую носят гусары. Что ж, самому меткому в армии стрелку приходилось поражать цели и поменьше.

Он сдернул карабин, и молчаливые, раскинувшиеся на многие мили вокруг болота содрогнулись от оглушительного грохота, в котором потонул крик поднявшихся в небо птиц. Но сержант Шварц наблюдал не за птицами, а за всадником: даже на таком большом расстоянии видно было, как прямая белая фигурка внезапно скрючилась и осела, словно ее переломили пополам. Теперь она мешком висела на седле, и Шварц, человек зоркий и многоопытный, не сомневался: пуля попала в цель; больше того, он мог поручиться, что пуля попала всаднику прямо в сердце. Вторым выстрелом он уложил коня, а еще через мгновение всадник вместе с лошадью накренились, рухнули вниз, и белое пятно растворилось в темной трясине.

Практичный сержант решил, что дело сделано. Вообще трезвомыслящие люди его типа, как правило, слишком много думают над тем, как сделать, а потому зачастую не задумываются, что делают. Ведь он предал самое дорогое, что есть в армии — солдатское братство; он убил отважного офицера при исполнении боевого задания; он обманул своего монарха, пренебрег его приказом и хладнокровно убил человека, против

которого ничего не имел. Зато он выполнил приказ старшего по чину и способствовал казни поляка. Два последних обстоятельства придавали ему уверенности, когда он, погрузившись в свои мысли, ехал назад доложить маршалу Гроку, что его задание выполнено. А в том, что оно выполнено, не могло быть никаких сомнений. Человек, который вез приказ о помиловании, был безусловно мертв. Если же он каким-то чудом уцелел, то все равно не смог бы на своей мертвой или умирающей лошади добраться до города и предотвратить казнь. Нет, что ни говори, а сейчас всего благоразумнее будет вернуться под крыло своего патрона, которому принадлежал этот дьявольский план. Сержант, человек сильный, решил довериться другому, еще более сильному человеку — великому маршалу.

Маршал и в самом деле был выдающейся личностью — ведь после совершенного им — или по его приказу — чудовищного преступления он счел ниже своего достоинства бояться смотреть правде в глаза и избегать встречи с убийцей. Мало того, не прошло и часа, как они вместе с сержантом поскакали по той же самой дороге. Проехав часть пути, маршал спешился, а своему спутнику приказал ехать дальше. Он хотел, чтобы сержант добрался до города и выяснил, все ли там спокойно после казни, не волнуется ли народ.

— Неужели это здесь, Ваше превосходительство? — еле слышно проговорил сержант. — Мне почему-то казалось, что это гораздо дальше. Когда я ехал, меня, как в кошмарном сне, не покидало ощущение, что эта проклятая дорога не кончится никогда.

— Здесь, — подтвердил Грок, вынул ногу из стремени, тяжело спрыгнул с лошади, подошел к длинному парапету и заглянул вниз.

Над болотами поднялась луна, и в ее ярком, величественном свете из непроницаемого мрака выступила черная вода и зеленая ряска; в камышах, у подножия холма, прямо под насыпью в строгом сиянии луны белели останки одной из лучших лошадей и одного из лучших всадников его бывшего полка. В том, что это фон Шахт, сомневаться не приходилось: месяц, словно нимбом, осенял вьющиеся светлые волосы юного Арнольда, второго гонца, посланного с приказом о помиловании; тот же таинственный лунный свет выхватил из темноты не только золотые пуговицы и оранжевую перевязь молодого гусара, но и медали, нашивки на мундире, знаки отличия. В ореоле мягкого лунного света убитый напоминал облаченного в белые доспехи сэра Галахада, а над ним, павшим воином с благородным и юным лицом, застыла — по чудовищному контрасту — мрачная фигура безобразного старика, который стоял, облокотившись на парапет, и глядел вниз. Грок вновь снял каску, и хотя он, весьма вероятно,

сделал это, дабы почтить память погибшего, при свете луны, упавшей на его гладкий, совершенно лысый череп и длинную шею, он вдруг сделался похож на какого-то жуткого доисторического ящера. Такую сцену мог бы запечатлеть Ропс или какой-нибудь другой живописец гротескной немецкой школы: громадное, бесчувственное чудовище воззрилось на поверженного херувима в белой в золоте кольчуге с перебитыми крыльями.

Хотя Грок не прочел молитвы и не пролил слезы над убитым, что-то в его мрачном уме шевельнулось, ведь даже мертвая гладь безбрежных болот иногда шевельнется, точно живая, и, как бывает с такими людьми, когда они испытывают нечто вроде угрызения совести, маршал попытался, бросая вызов безлюдной вселенной и яркой луне, сформулировать свое кредо:

— Воля немца непреклонна и никаким переменам не подвержена. Немец в содеянном не раскаивается никогда. Воля его не подвластна времени, она сродни каменному идолу, чей непроницаемый взгляд устремлен одновременно и вперед, и назад.

Ответом ему была мертвая тишина, которая потешила его холодное тщеславие: он ощутил себя пророком, подавшим голос изваянием. Но вскоре тишину разорвал далекий конский топот, и через мгновение на дороге показался скакавший сломя голову всадник. При свете луны смуглое, изрезанное шрамами лицо сержанта казалось не просто мрачным, а зловещим.

— Ваше превосходительство! — крикнул он, как-то неловко отдавая честь.

— Я только что собственными глазами видел поляка Петровского!

— Его еще не похоронили? — обронил маршал, по-прежнему рассеянно смотря вдаль.

— Если его похоронили, значит, он откинул камень и восстал из мертвых.

Сержант, не отрываясь, смотрел на луну и болота, но хотя мечтателем его нельзя было назвать при всем желании, ни луны, ни болот он не видел. У него перед глазами до сих пор стояла залитая ослепительным светом главная улица польского города, по которой ему навстречу быстрым шагом шел Павел Петровский, собственной персоной, целый и невредимый. Не узнать его было невозможно: стройный, вьющиеся волосы, бородка клинышком на французский манер — в иллюстрированных журналах и альбомах печаталось великое множество его фотографий. А улицы города были увешаны флагами, запружены ликующими толпами; впрочем, горожане были настроены вполне миролюбиво, ведь они праздновали

освобождение своего кумира.

— Вы хотите сказать, — вскричал Грок охрипшим от волнения голосом, — что его посмели выпустить из тюрьмы вопреки моему приказу?!

— Когда я приехал, его уже выпустили, — еще раз прикладывая руку к козырьку, выпалил Шварц. — И никакого приказа они не получали.

— Не пытаетесь ли вы убедить меня в том, что гонца из нашего лагеря не было вовсе?

— Именно так, — отозвался сержант.

— Так что же, черт возьми, произошло?! — прохрипел Грок после еще более продолжительной паузы. — Как бы вы объяснили случившееся?

— Я кое-что видел, — ответил сержант, — и думаю, смогу объяснить случившееся.

Тут мистер Понд умолк. Его лицо в этот момент до обидного ничего не выражало.

— А вы-то сами можете объяснить, что же все-таки произошло? — нетерпеливо спросил Гэхеген.

— Мне кажется, да, — скромно сказал Понд. — Видите ли, когда сведения об этом случае дошли до моего отдела, мне пришлось самому в нем разбираться. Все произошло, как я уже говорил, из-за чрезмерной прусской исполнительности. А также из-за чванства, еще одного чисто прусского недостатка. Ведь из всех страстей, что ослепляют, сводят с ума и сбивают с пути, худшая, наименее пылкая из всех, — чванство.

Со своими подчиненными Грок держался заносчиво. Он терпеть не мог дураков, даже если дураками были офицеры его штаба. К фон Гохеймеру, первому курьеру, он относился как к мебели только потому, что у того был дурацкий вид; на самом же деле лейтенант был совсем не так уж глуп. Что хотел от него маршал, он понял ничуть не хуже циничного сержанта, который такие подлые приказы выполнял всю жизнь. Гохеймер прекрасно понимал, какой оригинальной жизненной позиции придерживается маршал: поступок неопровержим, даже если он недопустим. Он знал, труп Петровского маршалу нужен любой ценой, даже если бы ради этого пришлось обмануть всех на свете принцев и уничтожить всех не свете солдат. Услышав за спиной приближающийся стук копыт, он понял не хуже самого Грока, что второй курьер везет приказ принца о помиловании. Фон Шахт, совсем еще молодой, но отважный офицер, воплощение благородного германского духа, которому в этой истории, увы, не отдали должного, повел себя в данной ситуации как и подобает вестнику доброй воли. Держась в седле с искусством истинного

рыцаря, он нагнал первого курьера и голосом, не менее громоподобным, чем труба герольда, приказал ему остановиться и повернуть коня. И фон Гохеймер повиновался. Он остановил лошадь, повернулся в седле, но рука его незаметно легла на курок карабина, и юноша был убит наповал.

Затем он повернул коня и поехал дальше, со смертным приговором в кармане. За его спиной лошадь и всадник рухнули в болото, и дорога вновь опустела. И вот по этой пустой дороге следом за первыми двумя курьерами пустился в путь третий. Дорога почему-то показалась ему бесконечно длинной. Он скакал в полном одиночестве до тех пор, пока не увидел впереди всадника, который, словно белая звезда, маячил в отдалении. Убедившись, что на всаднике гусарская форма, он тоже спустил курок. Только убил он не второго курьера, а первого.

Вот почему в ту ночь в польский город не прибыл ни один курьер. Вот почему заключенного выпустили живым на свободу. Вот почему я не ошибся, когда сказал, что у фон Грока оказалось слишком много преданных слуг.

Примечания

Три всадника — точнее, четыре всадника. См. Откр., 6, 2 — 8.

…еще не принято было одевать солдат… в одинаковые грязно-серые гимнастерки. — Впервые в мировой военной практике форма защитного цвета была введена во время англо-бурской войны 1899 — 1902 гг.

…Бисмарка обвиняли… обманул… с Эммской депешей. — Эммская депеша

— провокационное послание Бисмарка (1815 — 1898), будущего канцлера Германии, вынудившее Францию объявить войну Германии.

…уподобиться безумным вакханкам, что убили Орфея. — Мифический певец и музыкант, Орфей не почитал бога Диониса. Разгневанный Дионис наслал на Орфея менад-вакханок, которые разорвали его тело в клочья.

Ропс Фелисьен (1833 — 1898) — бельгийский живописец и график.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

1

Pond — пруд (англ.)